

Похоронил Михайла Иваныч старуху и стал жить один. И вот тут-то понял он и оценил то, чего при жизни жены не замечал, а значит, не понимал и ни в грош не ставил.

Понял он, что всю жизнь она положила на то, чтобы ему было хорошо и удобно, чтобы голодным из-за стола не вылезал, чтобы бельишко было вовремя постирано и сменено, пол вымыт и подметен и даже гирька часовая подтянута.

Вот остался он один и в первую же ночь проснулся от нехорошей тишины: никто не вздыхал рядом, никто не похрапывал, и маятник молчал. Старик зажег спичку и увидел, что гирька опустилась до самой диванной спинки и уперлась в нее. Часы показывали половину одиннадцатого, а сколько было на самом деле — бог его знает. Михайла Иваныч подтянул гирю, покурил, лег, но так уже и не мог заснуть, все думал.

Думал он как-то нескладно, мысли, что черви, ползали во все стороны, норовили в землю зарываться, одни хвостики мелькали. Вспомнил про дочь, которая жила во Владивостоке, это шут его знает где, десять, что ли, суток езды. И хоть послал он ей телеграмму, а ждать, видно, нечего — не придет: билет чуть не тысячу рублей в один конец. Вспомнил старуху свою, как она еще молодой была и как он с ней тогда нехорошо поступал, а один раз даже ударил. И все из-за пустяков, конечно, или спьяну. Он тогда часто под мухой домой приходил со службы. А служил он почти всю свою жизнь на вокзале в Горелом, ходил туда за семь верст. И как-то так получилось, что с молодых лет отбился он от крестьянства, на тяжелой работе хребет не ломал, а все больше норовил туда, где полегче.

На вокзале служба была легкая и веселая: платформу подмести, воды в бак натаскать или войти в зал ожидания и закричать (тогда еще радио не было) не своим голосом:

— Поезд Москва—Ростов прибывает на первый путь!

В войну от вокзала остались одни головешки, подметать оказалось нечего. Тогда Михайла Иваныч прибил к селу и, поскольку он был грамотен, а народ весь находился на фронте, — поступил на должность сельсоветского секретаря. В этой должности он пробыл до сорок седьмого года, а потом вышел на пенсию.

Однако ему, как человеку, привыкшему всю жизнь выполнять пускай легкую, но все ж таки работу, без дела ходить показалось скучно. Тут как раз подвернулась работенка — глядеть за речным порядком. Ему выдали челночок, и он стал промерять глубину речки и ставить на своем участке сигнальные вешки с вениками — хвостами вверх и хвостами вниз.

Кроме того, директор расположенной возле села Ракитина опытно-селекционной станции поручил Михайле Иванычу для чего-то ежедневно записывать температуру воды и воздуха и посулился платить за это восемьдесят рублей в месяц. Конечно, Михайла Иваныч согласился с великой охотой, получил казенный градусник и стал усердно мерить температуру.

Какое-то время пребывал он как бы научным сотрудником, а это ему очень льстило. Но вскоре директора сняли, а новый температуру мерить не пожелал и сократил Михайла Иванычу должность. Однако про градусник, наверно, забыли, он остался у старика, и тот (хоть ему за это уже ничего не платили) продолжал каждый день аккуратно мерить и записывать температуру.

Так, перебирая в неприязненной ночной тишине разные события своей жизни, Михайла Иваныч курил одну за одной махорочные елецкие сигаретки и плевал на пол, чего так не любила покойница и единственно против чего решительно восставала.

«Э, что там! — плюя, подумал Михайла Иваныч. — Теперь все равно, на что мне чистота!»

3.

Но ведь всякая болячка заживает, а горе, конечно, забывается. Помаленьку и Михайла Иваныч стал забывать свою старуху, наловчился управляться с козой, сам варил себе похлебку, сам стирал штаны и рубахи, словом, вошел, как говорят, в колею.

Все было бы ничего, но одно одолевало старика — вошь. Как будто и мылся, и белье менял каждую субботу, а ей, проклятой, конца-краю не было.

Гоня в стадо козу, Михайла Иваныч встречался с сельскими бабами, точил с ними ляды и как-то пожаловался на свою беду. Бабы сказали, что это от тоски, что надо тоску унять. И Михайла Иваныч подумал, что, верно,

тоскливая стала его жизнь, одна суета, а интересу нет. И вот он надумал заняться чтением.

Он пошел в библиотеку и попросил книжку.

— Вам, дедушка, про что? — спросила его толстуха Ньюска, библиотекарьша.— Про жизнь или из фантазии?

— Давай из фантазии, — сказал Михайла Иваныч,— жизнь я, дочка, всю превзошел наскрозь...

С этого дня стало у него выгорать керосину ужас сколько. Не замечая, как летит время, засиживался он далеко за полночь и, бывало, даже засыпал над книжкой. Вместе с инженером Лосем побывал он на Марсе, с профессором Челленджером блуждал по диковинному допотопному миру, читая про человека-амфибию, возмущался подлостью капиталистических дельцов. И правильно ли говорили бабы, или получилось простое совпадение, только вошь у него пропала.

Так незаметно прошла зима с ее морозами и метелями, засверкала февральская капель, прошумело половодье, и в нежных розовых рассветах, в цветах черемухи, в звонких птичьих хорах пришла всю жизнь и для всякого возраста радостная весна.

Михайле Иванычу день стал короток: началась навигация, надо было неусыпно следить за фарватером. С утра до ночи мотался старик по реке, ставя и переставляя сигнальные вешки и бакены, нащупывая точный путь для свежевыкрашенных, нарядных пассажирских катеров и быстроходных моторных лодок.

Он попробовал в заливных местах поставить вентера, и улов превзошел ожидания: караси, лещи и даже сомы лезли в его нехитрую снасть в таком количестве, что рыбу девать стало некуда. Он прилачился продавать ее в чайную, и таким образом к его пенсии прибавился еще заработок от рыбы. Дела пошли отлично, он купил себе новые сапоги, брезентовый плащ, починил крышу на избе и так ублагодотворился жизнью, что окончательно позабыл свою старуху. И мало того, что позабыл, но в голове его даже стала время от времени мелькать одна тайная и довольно чепуховая мыслишка.

Эта мыслишка пришла вдруг, как-то нечаянно, сама по себе. Михайла Иваныч ни с кем не поделился ею, он даже старался прогнать ее, заглушить и, верно, заглушил бы, если б не неожиданно приехавшая из Владивостока дочь.

Ее звали Олимпиадой. Это была очень энергичная и крикливая женщина. Она постоянно лезла не в свое дело, вечно кого-нибудь сватала или, наоборот, разводила и, хоть никто ее об этом не просил, любила давать всевозможные советы и наставления.

Олимпиаде перевалило уже за тридцать. Ее муж, моряк торгового флота, по целым месяцам находился в отлучке, детей у них не было, работать она, очевидно, не хотела и вот с безделья-то, получая от мужа хорошие деньги, сидела и выдумывала разную ерунду.

Она нагрянула вскоре после майских праздников, как снег на голову, и, не успев еще как следует оглядеться, сразу же приступила к своим пустым и ненужным хлопотам.

— Фу, какой у вас тут воздух тяжелый! — сморщив нос, сказала она. — Вы тут, папа, ужас какую грязь развели... Полюбуйтесь — в зеркало поглядеться нельзя, мухи засидели! Тут прибирать и прибирать!

Но за приборку не принялась, все осталось по-прежнему.

Старик не видел дочь около десяти лет, с тех пор как она укатила со своим моряком во Владивосток. Сейчас он глядел на нее и не понимал — рад он ей или нет, нравится она ему или не нравится. Что же до зеркальца, то оно было ему совершенно не нужно, он и в молодые-то годы сроду в него не гляделся, и мухи, верно, его засидели. Но то, что дочь не поплакала, не сходила на материну могилку, а сразу стала прихорашиваться перед зеркалом, ему пришлось не по душе. «Свистушка Липка, — презрительно подумал он о ней, — про покойницу и не вспомнила, чисто не мать померла, а корова сдохла... Ишь, губы-то накрашивает, трясогузка...»

А Олимпиада, точно угадав его мысли, вдруг обернулась и сказала:

— Это, конечно, жалко, что я маму не повидала, но что же сделать, сами знаете, ехать к вам сюда — не ближний край. Так что об этом и толковать нечего, дело прошлое. Как говорится, мертвым — мертвое, а живым — живое. Вам, папа, об себе подумать надо.

— Да что ж такое мне об себе думать, — удивился Михайла Иванович. — Мне об себе думать нечего.

— Жениться вам надо, — вздохнула Олимпиада, — а то вы без женщины совсем запсеее. Вас тараканы съедят.

Старик смущенно засмеялся. Дочь нечаянно попала в точку: то смутное и тайное, что все чаще и чаще в последнее время мелькало в его голове, и была именно мысль о женитьбе.

4.

Вскоре все село знало, что Михайла Иванович задумал жениться. И многие женщины, у которых время было в избытке, стали принимать живейшее участие в этой затее. Больше же всех суетилась и хлопотала, конечно, Олимпиада.

Чуть ли не каждый день в Михайла Ивановичевой избе стали появляться знакомые и незнакомые гражданки. Они приходили будто бы невзначай — попить водицы или с просьбой перевезти через речку. Слово за словом завязывался разговор, сводившийся к одному: без бабы изба кривая, старушке, разумеется, царство небесное, а Михайла Иванович еще мужчина хоть куда, — так за чем же дело стало?

И одни говорили туманно, притчами да поговорками, а другие прямо и откровенно предлагали себя в жены. Михайле Ивановичу, конечно, было ясно, что все эти невесты интересуются не столько им самим, сколько его избой и пенсией. И хотя для своих семидесяти двух лет Михайла Иванович был еще довольно свежим и бодрым человеком, он понимал, что жить ему осталось не так уж много, что бодрости его скоро наступит конец и придет дряхлая, беспомощная старость. На этот-то случай ему и требовалась жена, но, разумеется, не жена-любовница, а жена-нянька.

Так разумно рассуждал старик до тех пор, пока невесты не хлынули потоком. Когда же он увидел, как много всевозможных женщин (из которых иные были довольно еще молоды) желают сделаться его женами, то стал не только примериваться к их, так сказать, деловым качествам, но и поглядывать на наружность: на чистоту, приятность лица и на упитанность.

Безусловно, это было заблуждение, и в нем прежде всего была виновата Олимпиада.

— Вы, папа, — трещала она, — еще очень и очень видный мужчина, за вас всякая пойдет. Какой же вам, позвольте спросить, интерес навязывать себе на шею какую-то жлобиху кособокую, когда дело у нас с вами не к спеху

и вы можете выбрать себе если не первой молодости, то во всяком случае по вкусу...

Михайле Иванычу хотелось сначала плюнуть на подобные разговорчики, крикнуть: «Замолчи, дура!» — но мало-помалу он к ним привык, его точно затуманило, и он во всем соглашался со своей недалекой дочерью.

При всей своей глупости и легкомыслии Олимпиада была очень опытна в разных пустяковых делах, и тут от ее глаза ничто не скрывалось. Например, она уличила одну из невест, пожилую, благообразную женщину, которая очень хорошо беседовала со стариком, в суждениях своих показывала ум и доброту, но почему-то, несмотря на июльскую жару, все кутала шею в черный шерстяной платок.

Олимпиада подсела к ней и до тех пор, притворяясь выпившей (такие смотрины без пол-литра не обходились), ластилась и обнимала невесту, пока не нащупала у ней под платком зоб. И хотя женщина эта пришлось по душе Михайле Иванычу своей кротостью и разумными речами, Олимпиада настояла на том, чтобы отец ее отверг.

Беспокойная и вздорная Липка прожила у отца до самой осени, и все лето у старика прошло в смотринах. Михайла Иваныч даже несколько ошалел от этого бестолкового занятия. Он дошел до того, что иной раз забывал измерить температуру воды и воздуха. Вешки же по рассеянности ставил не там, где надо, из-за чего однажды переполненный отдыхающими пассажирами катёр сел на мель и водитель долго ругал старика всякими нехорошими словами.

Но вот, наконец, в начале октября, когда небо сделалось по-осеннему бледным, а речные травы, увядая, легли на дно, Олимпиада остановила свой выбор на одной, жившей в селе Горелом, женщине, сказала свое веское слово, и старик покорно согласился.

5.

Свадьбу играли на октябрьские праздники. Особенно, так сказать, из ряда вон выходящего, ничего не было, однако все справили не хуже, чем у людей: пили, кричали «горько!», разбили четыре стопочки и две чашки и пели песню:

Деньги — дело нажитое,
О них нечего тужить,
А любовь — дело другое,
Ею надо дорожить!

Вскоре после свадьбы Олимпиада подалась в свой дальний Владивосток, а Михайла Иванович начал свою беспокойную, полную всяких непредвиденных событий жизнь.

Его новую подругу звали Дарьей Степановной. Она была одинока. С ее стороны на свадьбе гулял только один пожилой долговязый мужчина, которого она представила как своего родственника, но почему-то называла батюшкой. Гаврила Тихоныч (так звали долговязого) бодро хлопал стопку за стопкой, всякий раз, выпив, жмурился, точно кот, качал головой и приговаривал:

— Ох, братья! Винцо — мудрецо, благодать божия...

Сама же молодая не пила, а только пригубливала из стакана и так, молча и безразлично, просидела за столом весь вечер.

— Ну, ты, дед, и бабу отхватил! — посмеивались захмелевшие гости. — Краля! Право-слово — краля!

Рослая, полная, с очень белыми руками и таким же мучнисто-белым лицом, она, несмотря на свои сорок семь лет, была бы недурна, если б не какое-то сонное выражение узких, черных, слегка припухших глаз. Такое выражение бывает у только что разбуженных людей, когда глаза уже открылись, а разум еще спит.

Черное, наглухо застегнутое платье делало ее похожей на монашку, и сходство это еще больше усиливалось от ее манеры разговаривать, то и дело крестясь и вздыхая, преувеличенно скромно потупляя глаза.

Став полноправной хозяйкой, Дарья Степановна первым делом принялась наводить в избе порядок. Она отчистила от мушинных следов то самое зеркало, которым так возмущалась Олимпиада. Затем вымыла и протерла луком циферблат стареньких часов-ходиков, где, к удивлению Михайлы Ивановича, оказалась картинка «Кутузов в Филях». Управившись с этим, Дарья Степановна вынула из своего сундучка яркую, вероятно трофейную, немецкую литографию. На ней изображались идущие по ветхому мостику розовые, причесанные и завитые мальчик и девочка, а над ними, как бы оберегая их, парил такой же розовый, с такой же отличной перманентной завивкой ангел-хранитель. Мелкими сапожными гвоздиками Дарья

Степановна прибила литографию к стене возле зеркала и на этом закончила свои домашние хлопоты.

Михайла Иванович никогда не вникал в хозяйственные и житейские дела по дому. Он порадовался на часовой циферблат, но так и не заметил, что наросшие загод ключья паутины остались висеть во всех углах избы. Да, пожалуй, если бы даже и заметил, так не обратил бы на это особого внимания: что ж такое,—паутина, подумаешь, беда какая! Старика неприятно поразило другое.

Утром, после свадебного пира, когда пришла пора гнать в стадо козу, выяснилось, что Дарья Степановна не умеет доить.

— Да как же так? — растерялся Михайла Иванович. — Баба, а доить не можешь?

Дарья поглядела на него своими сонными черными глазами.

— А меня,—равнодушно сказала она,—к этому заготовку батенька-покойник, царство им небесное, не приучали... Они желали отдать меня в гимназию, но тут случилась революция, и они вскорости померли, а гимназии позакрывались.

«Вот так номер!» — подумал ошеломленный Михайла Иванович и, ни слова не говоря, пошел сам доить козу.

Выйдя во двор, он не сразу принялся за дело, а сел на дровосеку и закурил свою любимую елецкую сигаретку. Ответ жены озадачил его.

«В гимназию! — соображал он. — Да из каких же она будет?»

И тут только понял он, как затуманила его Олимпиада своей глупой болтовней, что ему при первой встрече с Дарьей за всякими пустяками и в голову не пришло поговорить о деле и разузнать хорошенько — кто она, какого поля ягода и годится ли ему в помощницы.

Пока он этак покуривал да рассуждал, а потом доил козу, пастух, конечно, не стал дожидаться и погнал стадо. Так что Михайле Ивановичу пришлось его догонять. И когда он шел с козой, то по дороге ему встречались бабы и, откровенно насмехаясь, почти все задавали один и тот же вопрос:

— Что ж, молодая-то, спит, что ли, со вчерашнего?

«Ладно,—с досадой думал Михайла Иванович,—вам, сорокам, только дела зубы скалить! Ну, не может доить и не может, эка, прости господи, беда какая! Научится...»

Но Дарья Степановна не научилась. Да она и не желала научиться и совершенно откровенно презирала всю ту нехитрую хозяйственную работу, на которой держалось Михайла Ивановичево, а теперь, следовательно, и ее благополучие.

Приближалась зима, приходилось, ничего не поделаешь, подумать о топке. Кругом был лес, а нарубить сушняку — дело пустячное. Раньше Михайла Иванович со своей старухой в какую-нибудь неделю управлялись с этим: еще затемно утречком отправлялись они на лодке километра за два вверх по реке, к дремучему Чертову логу, рубили в два топора и, нагрузив на челнок мало что не воз дров, к обеду возвращались домой.

С Дарьей же Степановной этак ловко не получилось: во-первых, оказалось, что она в жизни не держала топора, а во-вторых, смерть как боялась воды и на лодке ехать решительно отказалась. Михайла Иванович нахмурился, почесал затылок, но сказать ничего не сказал и поехал один.

Ну, само собой, две руки не то что четыре, — вернулся он к вечеру только. Подогнав лодку к причалу, недовольно покрутил головой. «Могла бы, мол, встренуть, краля! — раздраженно подумал Михайла Иванович. — Что-что, а уж тут-то хоть подсобить могла бы...»

Он нарочно долго возился, привязывая лодку, все ожидая, что Дарья наконец разглядит его в окошко и выбежит встретить и помочь. Но она не показывалась.

— Дашонка! — позвал он ее. — Дарья Степановна!

Никто не отозвался ему. Он сердито плюнул, кое-как пошвырял с лодки дрова и, тяжело волоча весло, пошел к избе. На двери висел замок. «Может, на огороде чем занялась?» — мелькнула слабая догадка, и Михайла Иванович пошел на огород. Там было пусто и по-осеннему печально. Рыжая, уже тронутая морозом картофельная ботва валялась как попало, точно кто ее, озорничая, раскидал; на красной вишневой заре черным частоколом торчали нелепые палки обезглавленных подсолнухов, среди которых одиноко бродила недоенная коза. «Женился, старый дурак! — шепотом выругался Михайла Иванович. — Спасибо чертовой Липке!»

Дверь, выходящая из избы на огород, оказалась незапертой. Михайла Иванович загнал козу, подоил ее и вошел

в избу. Голод одолевал его: он как на грех позабыл утром захватить с собой в лес хлеба и теперь первым делом кинулся к печке. Печь была холодна и пуста. Михайла Иванович стал шарить по полкам, но и там, кроме старой заплеванной корки, не нашел ничего. «Женился!» — снова горько усмехнулся старик и снова чертыхнул Олимпиаду.

Однако голод не унимался, и надо было что-то предпринимать. «Схожу в чайную, — решил Михайла Иванович, — может, там какого супчику похлебаю...» И он полез в потайную печурку, где, завернутые в синий с белыми горошинками платочек, хранились его деньги, рублей четыреста с небольшим. Но ни платочка, ни денег в печурке не оказалось. Тогда он вспомнил, что намерен показывать Дарье свою похоронку, а она еще этак как-то безразлично сказала ему, что тут деньги держать нехорошо, что надо бы их переложить в сундук. Как ни был раздражен Михайла Иванович, а сейчас даже порадовался про себя и похвалил Дарью: все-таки заботится баба, вот, пожалуйста, деньги прибрала к месту... Но радость его была кратковременной: на сундуке висел замок, а ключ, конечно, Дарья припрятала.

— Ах, нечистый дух! — с досадой крикнул Михайла Иванович. — И где только ее, дьяволицу, носит! Ну, что теперь делать?

И он решился было идти в село, попросить у кого-нибудь взаймы хоть хлеба, что ли, но в это время на дворе послышались голоса, скрипнула дверь и в избу вошла Дарья. Михайла Иванович хотел в сердцах обругать свою нерадивую супругу, но осекся, разглядев вдруг, что Дарья была не одна: из-за ее спины выглядывала длинная и нескладная фигура ее родственника Гаврилы Тихоныча.

— Здравствуй, здравствуй, брат, — выступая вперед, весело, сладко сказал Гаврила. — Вижу и догадываюсь: сердчаешь... И прямо скажу, пожурил я Дашу: мало, говорю, об муже печешься! Но, брат! — вдруг восторженно как-то воскликнул он. — Снизойди же и ты до нее! Ибо не куда-нибудь ходила она, а божье дело, — слышишь, брат? — божье дело справляла!

Михайла Иванович растерялся. Уже недели две прошло после свадьбы, он был уверен, что Гаврила уехал тогда же... а он — вот он!

— Да ты откуда взялся-то? — не очень ловко, но зато прямо спросил Михайла Иванович.